

# СТЕКЛЯННАЯ СТЕНА



Стелла Полякова

18+

Стелла Полякова  
**Стеклянная стена**

«Автор»

2026

## **Полякова С.**

Стеклянная стена / С. Полякова — «Автор», 2026

Мире двадцать лет. Она репатриантка, живёт во Флорентине, платит аренду, тянет семью и готовится поступать в Бецалель — академию искусств в Иерусалиме. Чтобы свести концы с концами, она восемь месяцев работала на анонимной платформе. Теперь это в прошлом — но прошлое не исчезает бесследно. Роман о том, как строят стены, чтобы выжить, и о том, что происходит, когда в них появляются окна. О Тель-Авиве, архитектуре, войне на расстоянии и о первом настоящем чувстве — том, которое не умещается ни в какую роль.

© Полякова С., 2026

© Автор, 2026

# Стелла Полякова

## Стеклоанная стена

### Глава первая. Тель-Авив не спит

Тель-Авив никогда не засыпает по-настоящему.

Мира знала это уже четыре года — с того самого мартовского утра две тысячи двадцать второго, когда они с мамой, Димой и маленькой Златой вышли из автобуса на центральной автостанции и город встретил их горячим солёным воздухом, гулом моторов и запахом шаурмы с ближайшего лотка. Украина осталась позади — в тревоге, в слезах, в неловком оцепенении киевского вокзала, где пахло толпой и чужим страхом.

Папа стоял на перроне в синей куртке, которую Мира знала с детства. Он махал им вслед и улыбался — широко, почти весело, — но глаза у него были совсем другие. Мира смотрела на него через мутное стекло вагона и думала то, что думают только в шестнадцать лет, когда это случается первый раз и ты ещё не умеешь прятать боль за словами: папа улыбается, чтобы нам было легче уехать.

Шестнадцать лет. Новая страна. Чужой язык. И эта улыбка в мутном стекле.

Они уезжали по Закону о возвращении. Прабабушка Рива — мамина бабушка — была еврейкой из Полтавы, пережила войну, вышла замуж за украинца и всю жизнь молчала об этом так старательно, что молчание стало семейной традицией. О ней вспомнили в феврале две тысячи двадцать второго, когда нужно было куда-то ехать. Мира перебирала это в автобусе — думала о прабабушке, которую никогда не видела, о документах, которые эта незнакомая женщина оставила через три поколения как запасной выход. Странная форма заботы. Странное наследство. Израиль их не ждал — просто не мог закрыть дверь. Эта мысль жила в ней до сих пор. Тихо, под рёбрами, как заноза, которую не получается вытащить до конца.

\* \* \*

Сейчас было начало июня две тысячи двадцать шестого. Восемь вечера, а асфальт на улице Бен-Йехуда всё ещё дышал жаром — плотным, почти осязаемым, как будто город выдыхал его специально, не желая расставаться с теплом. Мира шла домой с работы и на ходу считала в уме.

Триста шекелей за смену в кафе. Минус сорок восемь на проездной. Минус двести, которые она обещала отдать маме, потому что та не дотягивала до зарплаты.

Итого: пятьдесят два шекеля.

За шесть часов на ногах. За шесть часов улыбок туристам, которые не могли определиться между капучино и латте, как будто от этого зависела судьба человечества. Мира иногда думала, что если когда-нибудь напишет мемуары, назовёт их «Капучино или латте» — и все, кто работал в общепите, поймут без объяснений.

Она притормозила у витрины книжного магазина. Там был выставлен альбом про Ле Корбюзье — большой, гляцевый, с белоснежной обложкой. Сто восемьдесят шекелей. Мира знала это наизусть, потому что уже в третий раз останавливалась у этой витрины, и каждый раз альбом был на месте, терпеливый и недостижимый, как горизонт.

— Никуда не денешься, — сказала она ему тихо.

Альбом, очевидно, был другого мнения.

Мира прибавила шаг.

\* \* \*

Их квартира находилась в районе Флорентин — старом, шумном, живом районе на юге Тель-Авива, где граффити соседствовали с цветочными горшками на подоконниках, а по ночам из подвальных баров доносилась музыка. Дом был построен в пятидесятых: три этажа, пожелтевшая штукатурка, железные перила лестницы, покрашенные сто раз и всё равно ржа-

веющие. Они занимали квартиру на втором этаже — три комнаты, кухня, совмещённый санузел и вид из окна во двор, где росло одинокое гранатовое дерево и круглосуточно орала коты.

Восемь тысяч шекелей в месяц. В Тель-Авиве это считалось дёшево.

Мира иногда задумывалась о людях, для которых это дёшево, и старалась не задумываться слишком долго.

Она открыла дверь своим ключом — замок заедал, нужно было приловчиться: чуть приподнять ручку и одновременно повернуть, иначе никак, — и ещё с порога услышала топот.

— Мира! Мира пришла!

Злата вылетела из коридора как маленький снаряд — двенадцать лет, косички, коленки в вечных синяках, и совершенно неисчерпаемый запас энергии, который, судя по всему, не зависел ни от времени суток, ни от законов физики. Она налетела на Миру, обхватила руками и едва не опрокинула.

— Подожди, дай разуться, — засмеялась Мира.

— Некогда разуваться, смотри что я нарисовала!

Злата уже тянула её за руку с настойчивостью буксира. Мира потащилась в туфлях, не расшнуровывая.

На столе в комнате лежал альбомный лист. Дом — кривоватый, с огромными окнами в пол и садом, где подсолнухи вымахали выше крыши. Рядом красовалось нечто круглое с волнистыми линиями по бокам — то ли фонтан, то ли вулкан. Тракторки допускались.

— Красиво, — сказала Мира серьёзно, разглядывая рисунок. — Очень красиво, Злата. Только вот эта труба — видишь? — она у тебя наклонена. Трубы должны идти строго вертикально, иначе дождь будет затекать внутрь.

Злата нахмурилась с видом человека, которому указали на очевидную нелепость.

— В Израиле бывает дождь?

— Зимой ещё как.

— Тогда переделаю. — Злата уже тянулась за карандашом, но остановилась. — А вот это фонтан. Я хочу, чтобы у меня когда-нибудь был такой дом, с фонтаном во дворе. Большим. Чтобы туда можно было залезть.

— В фонтан?

— Летом же жарко.

Мира засмеялась и поцеловала сестру в макушку. Злата пахла детским шампунем, фломастерами и почему-то карамелью.

— Договорились. Построю тебе дом с фонтаном, в который можно залезть.

— И чтобы коты не орала.

— Это уже не ко мне. Это к котам.

\* \* \*

На кухне мама стояла у плиты. Оксана Коваленко была красивой женщиной — высокая, светловолосая, с прямой спиной и руками, которые всегда что-то делали. Четыре года назад она привезла троих детей в чужую страну с двумя чемоданами и суммой денег, которой хватило бы на три месяца, если экономить. С тех пор она выучила иврит на твёрдый разговорный уровень, устроилась помощником бухгалтера в небольшую фирму на Алленби, записала Злату в школу и в секцию, оформила документы, страховку, налоги, муниципальные льготы для репатриантов.

Всё это — одна, с тремя детьми, в чужом городе, пока муж остался там, где стреляют.

Мира иногда смотрела на маму и спрашивала себя: как? Откуда берутся силы?

Мама, если бы спросили, наверное, ответила бы: а что, есть другой вариант?

Другого варианта не было.

— Ужинать будешь? — спросила мама, не оборачиваясь.

— Буду. Как прошёл день?

— Нормально. Клиент один нервный был, но разобрались. — Мама обернулась, окинула дочь быстрым взглядом — тем самым взглядом, который за секунду считывал всё. — Ты устала.

— Немножко.

— Ела там?

— Да, в кафе.

Мама помолчала секунду и кивнула. Они обе знали, что в кафе Мира ела только то, что оставалось от заказов — то есть практически ничего, — но этот разговор они уже имели, и он никуда не привёл, и обе молча решили его не повторять. По крайней мере сегодня.

— Дима приходил? — спросила Мира, ставя чайник.

Короткая пауза. Совсем маленькая, но Мира её поймала.

— Нет.

Мира кивнула.

Дима не появлялся уже две недели. Последний раз он пришёл в конце мая — ввалился около полудня, когда мама была на работе, нашёл на кухонной полке конверт с деньгами, который мама откладывала на Златины соревнования, и ушёл, бросив через плечо, что отдаст «буквально завтра». Мира обнаружила пропажу вечером. Позвонила брату — раз, два, три. На четвёртый раз он взял трубку.

— *Мир, клянусь, верну на следующей неделе. Там такая история, ты не представляешь.*

Она представляла. Именно поэтому разговор получился коротким.

Самое странное было то, что она его не ненавидела. Она его любила — раздражённо, устало, как любят человека, который снова и снова делает одно и то же, и ты уже знаешь, чем кончится, и всё равно надеешься, что в этот раз иначе. Дима был не злым. Дима был слабым — а это иногда хуже.

Четыре года назад, на вокзале в Киеве, он нёс самый тяжёлый чемодан и держал Злату на руках, пока та плакала. Тот Дима куда-то делся. Мира иногда его искала — в случайной улыбке брата, в редких моментах, когда он звонил просто так, не за деньгами, — и иногда находила. Совсем чуть-чуть.

\* \* \*

После ужина — гречка с тушёной, просто и сытно, мама умела кормить семью из воздуха — Злата потребовала проверить математику. Мира проверила, нашла две ошибки. Они поспорили. Злата настаивала, что правильно, Мира объясняла, что нет, Злата перепроверила и обнаружила, что Мира права, но сдалась с таким видом, будто это она сама всё исправила.

Потом Злата показала новый элемент — поворот с лентой, который разучивала на тренировке. Лента взвилась, описала в воздухе красивую спираль и снесла со стола мамину чашку.

Чашка осталась цела. Мира успела поймать.

— Злата, — сказал голос из коридора усталым тоном человека, которому это не впервые. — Дома не тренируемся.

— Я только показала!

— Ты «только показала» уже три вазы и одну полку.

— Те вазы были некрасивые.

— Спать.

Злата фыркнула с достоинством оскорблённого художника, поцеловала Миру, сунула маме под нос тетрадь с низким баллом по математике в надежде, что та не заметит, — мама заметила, — и удалилась в спальню, унося с собой атмосферу несправедливо притесняемого гения.

Мира смотрела ей вслед и улыбалась.

Потом улыбка сама собой сошла.

Через два месяца — чемпионат. Региональный, но серьёзный. Тренер Рина в прошлый четверг отвела маму в сторону после тренировки и говорила долго и серьёзно, поглядывая на Злату, которая в это время самостоятельно отработывала у станка. Мира стояла у двери зала и слышала обрывками.

*«Такую пластику я видела редко... чувство пространства врождённое, это не тренируется... если сейчас правильно вложиться... через три-четыре года можно говорить о национальной сборной...»*

Рина говорила маме, но смотрела при этом на Миру. Как будто понимала, кто в этой семье на самом деле принимает такие решения.

На чемпионат нужна была новая лента — старая вытерлась, судьи заметят. Новый купальник — за год Злата вытянулась на восемь сантиметров, старый не сидел как надо. Взнос за участие. Дорога в Хайфу. Ночь в гостинице.

Мира посчитала в уме. Получилось около трёх тысяч шекелей.

Трёх тысяч шекелей, которых не было.

\* \* \*

Она пошла к себе.

Её комната была маленькой — кровать, стол, стул, книжная полка, — но зато с окном на улицу, а не во двор. Узкая улочка, фикусы вдоль тротуара, и напротив — баухаусный дом тридцать восьмого года постройки. Белый, с округлыми балконами и горизонтальными окнами — чистый, ясный, продуманный до последней линии.

Мира любила этот дом. Она изучила его за четыре года так, как изучают стихи наизусть. Знала, как на него падает утренний свет — боком, выявляя фактуру штукатурки. Знала, как в три часа дня навес над входом даёт тень именно на то место, где человек остановится снять очки. Знала, что архитектор, спроектировавший угловой вход, думал не только о красоте — он думал о людях, которые будут здесь ходить каждый день.

Она хотела так уметь.

Когда они только приехали — шестнадцатилетняя, растерянная, с тремя словами на иврите и огромным страхом внутри — именно эти белые здания стали для неё первым утешением. Она бродила по улицам старого Тель-Авива и смотрела на них часами. Округлые балконы, ленточные окна, тени от карнизов — немецкие архитекторы, бежавшие от Гитлера в тридцатых, привезли сюда целый стиль и построили из него город. Мира тогда ещё не знала слова «баухаус», но понимала каждое решение интуитивно, нутром — почему здесь так, почему там иначе.

Это было единственное место, где она чувствовала себя не чужой.

Бецалель. Академия искусств и дизайна в Иерусалиме, кафедра архитектуры. За четыре года Мира изучила всё — вступительный экзамен, портфолио, программу, имена преподавателей, проекты студентов третьего курса. Знала всё — кроме того, откуда взять двадцать восемь тысяч шекелей в год на обучение. Плюс жильё в Иерусалиме. Плюс материалы.

Она разложила на столе листы с эскизами — планировка маленького городского квартала, которую делала последние две недели просто так, для себя. Жилые дома первой линии, за ними пониже коммерческие помещения, в центре парк с фонтаном. Без расчётов, по наитию — просто потому что пространства складывались в голове и им нужно было куда-то выйти.

Мира смотрела на эскизы.

Потом сложила их ровной стопкой и убрала в папку.

\* \* \*

Арик появился в их жизни восемь месяцев назад — через Диму, разумеется, потому что все неприятности в последнее время приходили через Диму.

Двадцать пять лет, широкие плечи, кроссовки явно дорогие — из тех, которые носят, чтобы было видно, что дорогие. Говорил быстро, улыбался легко, и была в нём какая-то неприятная уверенность человека, который привык получать что хочет и знает, как это делается.

Они столкнулись у Димы в октябре. Мира приехала за деньгами — две тысячи шекелей, которые мама дала брату «на одну неделю» ещё в августе. Денег не оказалось, зато оказался Арик, сидящий в кресле с телефоном.

— Сестра? — спросил он у Димы, не отрывая взгляда от Мира.

— Ну да, — сказал Дима, разглядывая потолок.

— Слушай. — Арик обратился к ней напрямую, без предисловий. — Тебе деньги нужны?

— Всем нужны.

— Нет, я про другие деньги. Серьёзные. Работа из дома, своё время, полная анонимность.

Мира посмотрела на него. Потом на Диму — тот изучал потолок с видом человека, которого всё это решительно не касается. Мира мысленно добавила этот момент в длинный список вещей, которые она никогда не забудет и постарается простить.

— Нет, спасибо, — сказала она и ушла.

Он написал ей через неделю. Она не ответила.

В ноябре хозяин квартиры прислал маме сообщение — они задержали аренду второй месяц подряд, и если ситуация не изменится, он будет вынужден расторгнуть договор. Мира прочитала это случайно — мама оставила телефон на кухне. Она положила телефон обратно, закрылась в своей комнате и долго сидела на кровати, глядя в стену.

За стеной слышался голос Златы — она что-то напевала, готовясь ко сну. Мира слушала и перебирала в уме: Злата не должна потерять секцию, мама не должна потерять квартиру, папа не должен узнать, что у них всё плохо, — у него и без того достаточно проблем.

*Арик написал: просто поговори, без обязательств.*

Она ответила.

Он объяснял долго и методично — как человек, который делал это не впервые. Специализированная платформа. Легальная. Никакого физического контакта — только экран. Только то, что она сама позволит, и ни на миллиметр больше. Хорошие деньги. Анонимность. Полный контроль.

Мире было девятнадцать лет. Она была умной девушкой — достаточно умной, чтобы понимать, что это такое и что правильный ответ — нет. Но правильные ответы не оплачивают аренду.

Она сказала себе: один месяц. Только чтобы закрыть долг по квартире. Один месяц — и она придумает что-то другое.

Прошло восемь месяцев.

За эти восемь месяцев она узнала о мужчинах больше, чем хотела знать. Они приходили под разными именами — Давид, Йосеф, Рон, Михаил, Томас, Андрей — но за никами всегда скрывалось одно и то же: одиночество, которое они называли желанием, и желание, которое они называли чем угодно, только не тем, чем оно было на самом деле. Они говорили ей, что она особенная, что она единственная. Некоторые писали длинные сообщения о своей жизни — о жёнах, которые не понимают, о работе, которая душит, о мечтах, которые не сбылись. Мира читала это и кивала в экран, и говорила то, что они хотели услышать, и в это время думала о водосточных трубах и несущих конструкциях.

Она не злилась на них. Злость требует энергии, а энергию она берегла.

Просто однажды, где-то между третьим и четвёртым месяцем, она поймала себя на том, что смотрит на мужчин на улице — случайных, незнакомых, совершенно обычных — и видит насквозь. Видит усталость под уверенностью. Видит страх под напором. Видит ту самую пустоту, которую они так старательно прячут. Это было неприятное знание — из тех, которые нельзя забыть.

В любовь она не верила. Точнее — перестала верить тихо, без драмы, как перестают верить в вещи, которые проверила и не нашла. Может, она существует где-то. Может, у других. У мамы с папой, например — судя по тому голосу за стеной, тихому и чистому, без брони. Но это было их, особенное. К ней это не имело отношения.

Мира была реалисткой. Мира умела считать шекели и знала цену словам.

\* \* \*

В половине одиннадцатого Злата спала. Мама за стеной разговаривала с папой — тихо, другим голосом, без привычной дистанции. Папа был в Харькове. Оттуда иногда сообщали о взрывах. Мира следила за новостями, хотя давно поняла, что это не помогает — только добавляет тревогу, которой и так хватало.

Она закрыла дверь своей комнаты на щеколду. Поставила ноутбук. Подрегулировала кольцевую лампу. Посмотрела на себя в зеркало — светлые волосы, серые глаза, лицо девушки, которая устала больше, чем показывает.

Потом распустила волосы. Выпрямила спину.

Вошла в роль.

Это было именно так — роль. Персонаж. Миланда не имела к Мире никакого отношения — примерно так она себе это и объясняла, когда объяснения были нужны. Миланда была смелой и никогда не уставала, и говорила то, что хотели услышать, и улыбалась правильной улыбкой, и знала все слова, которые нужно знать. Миланда была профессиональной. Миланда не думала об аренде и о Злате, и о папе в синей куртке.

Граница между ними была чёткой.

Большую часть времени.

Мира открыла нужную вкладку.

*Миланда онлайн.*

За окном орала коты.

Тель-Авив не спал.

И где-то в этом городе — она этого ещё не знала — существовал человек, которому предстояло разрушить всё, что она так старательно выстраивала. Все стены. Весь реализм. Всё то холодное и разумное, за которым она спряталась и которое приняла за себя.

Но это будет потом.

*А пока — Миланда онлайн.*

## **Глава вторая. Три тысячи шекелей и родственники**

Принято считать, что талант — это дар. Никто при этом не уточняет, что дар этот достаётся не самому таланту, а всем, кто его окружает, и стоит он, как правило, значительно дороже, чем предполагалось в начале.

Мира усвоила это два года назад, когда тренер Рина впервые произнесла слово «перспектива» применительно к Злате, и с тех пор слово это жило в семье Коваленко отдельной строкой в воображаемом бюджете — между «хотелось бы» и «куда деваться».

\* \* \*

Зал художественной гимнастики располагался в спортивном комплексе на улице Яркон — в десяти минутах ходьбы от моря, которое отсюда не было видно, но угадывалось по особому качеству воздуха: чуть более солёному, чуть более тяжёлому, как будто море деликатно напоминало о своём существовании всем, кто имел неосторожность жить рядом с ним, но не имел времени к нему ходить.

Мира имела неосторожность, но не имела времени. Это была стандартная тель-авивская ситуация.

Она пришла за Златой к шести, как обычно, и остановилась у стеклянной стены, отделявшей коридор от зала. За стеклом шла тренировка — шесть девочек разного роста и одина-

ковой сосредоточенности двигались под музыку, которая снаружи звучала приглушённо, как будто доносилась из другого измерения.

Злата работала с лентой.

Мира смотрела — как всегда смотрела, наблюдая за сестрой, — и замечала в этом что-то архитектурное. Лента описывала в воздухе спирали и параболы, и тело Златы следовало за ней или вело её — Мира никогда не могла точно сказать, что именно, — и всё вместе складывалось в пространственную конструкцию, которая существовала секунду и исчезала, и была тем не менее абсолютно точной. Как чертёж. Как план здания, которое никогда не будет построено, но уже существует в чьей-то голове во всех деталях.

Мира достала телефон и сфотографировала — смазанно, потому что движение, но всё равно.

Потом убрала телефон и продолжала смотреть.

Злата была некрасива в общепринятом смысле — нос картошкой, уши немного торчат, рост пока не в пользу гимнастики. Но когда она двигалась, всё это переставало иметь значение, потому что возникало что-то другое, что не имело отдельного названия и что Мира для себя определяла как «присутствие». Злата в движении была вся целиком здесь, в этом пространстве, в этой секунде — без остатка, без отвлечённых мыслей о математике и карамельных конфетах.

Мира завидовала этому. Не сестре — этому качеству, которого у неё самой никогда не было и, судя по всему, не предвиделось.

— Хорошо идёт, правда?

Рина возникла рядом бесшумно — маленькая, сухая, с волосами, собранными так туго, что казалось, будто это и есть главный источник её дисциплины. Двадцать два года тренерской работы сделали её похожей на человека, который давно перестал удивляться людям, но иногда ещё удивляется гимнастике.

— Хорошо, — согласилась Мира.

— Сегодня третий раз чисто прошла комбинацию. — Рина сказала это тоном, которым врачи сообщают хорошие результаты анализов: с удовлетворением, но без излишнего оптимизма, потому что жизнь длинная и ещё успеет преподнести сюрпризы. — Через восемь недель чемпионат. Я хочу с тобой поговорить.

— Я знаю, — сказала Мира. — Три тысячи шекелей.

Рина посмотрела на неё с уважением человека, которому не нужно объяснять дважды.

— Три двести, если точно. Лента, купальник, взнос, Хайфа. Я нашла хорошего мастера по купальникам, она сделает со стразами, это важно для впечатления. Судьи это замечают.

— Судьи замечают стразы?

— Судьи замечают всё. — Рина произнесла это с такой убеждённой уверенностью, что Мира на секунду засомневалась в безопасности собственного образа жизни. — Злата может занять первое место. Я говорю это редко. Обычно я говорю «есть шансы» или «посмотрим». Сейчас я говорю — первое место.

За стеклом Злата завершила комбинацию, лента упала красивой дугой, и девочка замерла в финальной позе с тем выражением лица, которое бывает у людей, точно знающих, что только что сделали что-то хорошо.

— Три двести, — повторила Мира. — Хорошо. Разберёмся.

Рина кивнула. Они обе сделали вид, что поверили этому.

\* \* \*

Злата вышла из зала через двадцать минут — раскрасневшаяся, с лентой, намотанной на руку, и с видом человека, честно отработавшего своё место в этом мире.

— Ты смотрела? — спросила она немедленно.

— Смотрела.

— Видела финал?

— Видела.

— Ну и? — Злата остановилась посреди коридора с ожиданием человека, которому вот-вот скажут нечто важное.

— Лента легла неровно в самом конце, — сказала Мира. — Чуть левее нужно было.

Злата издала звук человека, которому вместо ожидаемого комплимента вручили конструктивную критику.

— Ты вообще видела, как я прошла всю комбинацию?!

— Видела. Это было очень красиво. И лента в конце легла неровно.

— Рина сказала, что хорошо!

— Рина права. И лента всё равно легла неровно.

Злата некоторое время смотрела на сестру с видом человека, обдумывающего аргументы. Потом вздохнула.

— Ладно. Исправлю.

— Вот именно.

Они вышли на улицу. Июньский вечер навалился теплом — мягким, почти ласковым, не таким свирепым, как днём. Со стороны набережной тянуло морем. Прохожие шли без спешки, как это бывает в городах, где вечером делать нечего, кроме как быть на улице, и это само по себе достаточная причина.

— Мир, — сказала Злата, — а купальник новый будет?

— Будет.

— С блёстками?

— Со стразами.

— Это лучше, — авторитетно заявила Злата. — Блёстки осыпаются, а стразы держатся.

Маша говорила.

— Маша права.

— Маша вообще много в чём права. — Злата помолчала. — Мир, а мы точно поедем в Хайфу?

— Точно.

— И мама тоже?

— И мама тоже.

Злата взяла сестру за руку. Просто так, без предисловий — как делают дети, которые ещё не разучились брать за руку, когда хорошо.

Три тысячи двести — сказала себе Мира мысленно. И сжала Златину ладонь немного крепче.

\* \* \*

Дима позвонил в тот же вечер, в половине девятого, когда Мира мыла посуду и прокручивала в голове несущие конструкции.

— Мира, привет. Ты как?

— Нормально. Ты как?

— Слушай, тут такое дело...

Мира поставила тарелку. Взяла полотенце. Приготовилась.

Следует отдать Диме должное: он всегда начинал издали. Некоторые люди, прося денег, переходят к делу немедленно — это неловко, но честно. Дима предпочитал сначала создать атмосферу — осведомиться о здоровье, упомянуть какое-то общее воспоминание, иногда рассказать анекдот. Это придавало последующей просьбе характер случайного совпадения, а не заранее спланированной операции.

Мира знала эту тактику наизусть. Она изучила её так же тщательно, как изучала баухаусные фасады, — с той разницей, что фасады вызывали в ней восхищение, а тактика брата — усталое узнавание.

— У тебя всё хорошо? — спросила она.  
— Да, в целом... слушай, ты помнишь Игоря?  
— Нет.  
— Ну, Игорь, мы с ним ещё в том году...  
— Дима. Сколько?

Пауза. Короткая, но выразительная.

— Восемьсот.  
— Нет.  
— Мир, это до пятницы, я клянусь...  
— Дима. Нет.  
— Ты даже не спросила зачем.  
— Это не имеет значения.

— Дима. — Мира произнесла имя брата с той интонацией, которую переняла от мамы и которая означала конец разговора без повышения голоса. — Мне нужно три двести на Златин чемпионат. У меня нет восьмисот лишних шекелей. У меня вообще нет лишних шекелей. У меня есть только обязательства.

Молчание на другом конце стало другим — немного другим. Не обиженным и не виноватым — скорее тем особым молчанием, которое бывает у людей, понимающих всё в глубине души, но пока не готовых с этим что-то делать.

— Ты сама как? — спросил он наконец. Тихо, без тактики.

Мира удивилась. Это был не тот Дима, которого она ожидала в этом разговоре.

— Нормально, — сказала она, чуть помягче. — Устала немного. Но нормально.

— Злата хорошо занимается?

— Очень. Рина говорит — первое место на чемпионате.

— Серьёзно? — В голосе брата мелькнуло что-то живое — настоящее, без исполнения.

— Вот это да.

— Вот именно.

Ещё пауза. Потом:

— Мир, я правда верну. Всё верну. Я понимаю, что ты не веришь, но...

— Я верю, что ты так думаешь, — сказала Мира. — Спокойной ночи, Дима.

Она повесила трубку.

Постояла секунду у раковины, глядя на своё отражение в тёмном окне над мойкой.

Любовь к брату и усталость от брата занимали в ней примерно одинаковое место и совершенно не мешали друг другу — как два жильца коммунальной квартиры, которые давно притёрлись и научились не пересекаться в коридоре.

Она взяла тарелку и продолжила мыть посуду.

\* \* \*

Мама ушла спать в десять — она вставала в шесть, это был неизменный факт мироздания, вроде восхода солнца или израильской бюрократии. Злата уснула раньше, утомлённая тренировкой и, по всей видимости, тем огромным количеством энергии, которое она потратила за день просто на то, чтобы существовать в своём обычном режиме.

Мира сидела за столом и считала.

Это было её нелюбимым занятием — не потому что она не умела считать, а потому что умела слишком хорошо и результат всегда получался одинаковым. Кафе давало в лучшем случае четыре тысячи в месяц — если брать все доступные смены, не болеть и не иметь никаких непредвиденных расходов. Аренда забирала восемь. Разницу покрывала мама из своей зарплаты помощника бухгалтера, которая была достаточной, чтобы не умереть, и недостаточной, чтобы жить без тревоги. Златина секция стоила восемьсот в месяц — это шло отдельной строкой, которую Мира последние полгода закрывала из своего. Еда, транспорт, школьные расходы

— всё это существовало в бюджете в виде оптимистичных округлённых цифр, которые при ближайшем рассмотрении оказывались несколько меньше реальных.

Три тысячи двести шекелей за восемь недель.

Мира написала эту цифру на листе бумаги. Посмотрела на неё. Цифра смотрела в ответ без всякого сочувствия.

Потом она написала под ней все источники дохода, которые могла придумать. Кафе — там уже стояли все возможные смены. Фриланс по черчению — она пробовала, платили мало и нерегулярно. Репетиторство по математике — был один ученик, но он сдал экзамены, и необходимость в Мире отпала. Продать что-нибудь — она обвела взглядом свою комнату. Продавать было нечего, если не считать книги по архитектуре, которые она покупала урывками и при одной мысли о продаже которых внутри что-то протестующе сжималось.

Мира перечеркнула лист.

Взяла новый.

Написала: «три тысячи двести шекелей».

И больше ничего не написала.

За окном было темно.

Мира смотрела в темноту и завидовала ей.

\* \* \*

В половине одиннадцатого она закрыла дверь на щеколду.

Сегодня был вторник — день, который она давно определила для себя как рабочий. Ритуал был отработан до автоматизма: щеколда, ноутбук, кольцевая лампа, волосы распущены. Минута — и Мира Коваленко исчезала. Появлялась Миланда.

Миланда была профессией, а не человеком — Мира давно и чётко провела эту границу. Актриса не является своим персонажем. Хирург не является скальпелем. Всё, что происходило за экраном, происходило с Миландой — смелой, раскованной, никогда не уставшей Миландой, которая знала все нужные слова и все нужные движения. Мира изучила это так же, как изучала архитектуру — методично, из книг и наблюдений, выстраивая теоретическое знание в практический навык.

Практика без опыта. Роль без репетиций с живым партнёром.

Это был её личный абсурд, о котором она никогда не думала слишком долго.

Миланда умела изображать всё, что от неё ждали, — желание, смелость, близость, игру. Камера видела именно то, за чем приходили. А за камерой Мира думала о водосточных трубах и модульных сетках, и это было не цинизмом, а просто способом существовать внутри того, что она для себя выбрала.

Первые два клиента были привычными. Один — молчаливый, которому достаточно было просто смотреть. Второй — болтливый, из категории тех, кому нужна была не Миланда, а слушатель, и Миланда слушала, и кивала, и Мира в это время прорабатывала в уме северный фасад своего воображаемого квартала.

Третий возник сам — незнакомый, новый ник.

Первые сообщения были стандартными. Миланда отвечала стандартно. Всё шло по схеме, которую Мира знала наизусть, как знают таблицу умножения — без участия, чисто механически.

А потом он написал:

— *Слушай, а как тебя на самом деле зовут?*

Мира остановилась.

Не потому что вопрос был опасным. Не потому что нарушал правила — такое спрашивали часто, и Миланда отвечала заготовленной фразой с лёгкой улыбкой. Но в этот раз что-то в интонации — в том, как была написана эта простая фраза, без лишних слов, без игры, —

было другим. Как будто он действительно хотел знать. Как будто за экраном сидел не клиент, а человек, которому вдруг стало любопытно, кто там, по ту сторону.

Миланда знала, что ответить.

Мира не знала, что с этим делать.

Она закрыла ноутбук.

Не резко — просто опустила крышку, аккуратно, как закрывают книгу на середине главы. Сидела несколько секунд в темноте — лампа ещё светила, создавая нелепый кружок света вокруг закрытого ноутбука, — и понимала, что только что потеряла примерно триста шекелей. Посчитала это автоматически. Автоматически же почувствовала, что считать это именно так — немного неприятно.

Первый раз за восемь месяцев она закрыла сессию раньше времени.

Не из-за грубости. Не из-за нарушения правил.

Из-за одного человеческого вопроса, заданного без всякого умысла.

Мира сидела в тишине и понимала, что это, пожалуй, говорит о ней что-то важное. Что именно — она предпочла пока не формулировать.

Она открыла папку с эскизами. Нашла квартальный план. Взяла карандаш.

Парк нужно сдвинуть севернее — тогда тень в самые жаркие часы будет именно там, где нужно, и люди действительно будут приходить туда сидеть, а не просто срезать путь через него.

Мира чертила до часа ночи.

За окном Тель-Авив жил своей обычной жизнью. Музыка из бара за углом. Одинокий мотоцикл. Коты.

Три тысячи двести шекелей.

Она старалась об этом не думать.

Получалось не очень.

### **Глава третья. Белый дом на Шенкин**

Существует особый вид счастья, доступный только людям, у которых нет выходных, — счастье единственного свободного утра в неделю. Оно острее обычного, потому что знаешь ему цену, и слаще, потому что знаешь: кончится. Мира относилась к своим субботним утрам примерно так же, как скряга относится к последней монете — с нежностью, бережностью и твёрдым намерением потратить именно так, как хочется, а не так, как надо.

В эту субботу она хотела на Шенкин.

\* \* \*

Она вышла в половине десятого — раньше, чем обычно, потому что июньское солнце к полудню превращало прогулки по открытому городу в упражнение по выживанию, а Мира предпочитала архитектуру в мягком утреннем свете, когда тени длинные и фактура штукатурки видна особенно отчётливо. Взяла с собой блокнот, телефон, бутылку воды и то особое настроение, которое бывает, когда идёшь куда хочешь и никому об этом не докладываешь.

Флорентин в субботу утром был другим — тише, медленнее, с запахом кофе из открытых дверей кафе и с особой расслабленностью людей, которые выспались. Мира шла не спеша, позволяя себе останавливаться где хотела — у старого дома с балконом в виде корабельного носа, у переулка, где художник покрыл целую стену огромным граффити в стиле экспрессионизма, у маленького садика между домами, который кто-то разбил явно самовольно и с большой любовью.

Тель-Авив умел быть красивым именно так — не официально, не по плану, а случайно и вопреки. Мира любила его именно за это.

Она дошла до Шенкин и свернула. Улица просыпалась — открывались кафе, первые прохожие занимали столики на тротуарах, кто-то выгуливал собаку с видом человека, которому это в радость, а не в обязанность. Мира шла и смотрела на дома — привычным взглядом,

который давно перестал быть просто взглядом и стал чем-то вроде разговора. Она спрашивала у зданий, что они думают о себе и о людях, которые в них живут, и здания, как правило, отвечали — если знать, как слушать.

Угловой дом она увидела издалека.

Тридцать восьмой год — она знала это точно, по характеру навеса, по соотношению окон, по тому, как решён угол. Белый, чуть пожелтевший от времени, с округлым балконом на втором этаже и горизонтальными лентами окон, которые делали фасад лёгким несмотря на массивность. Угловой вход был решён косо — не под прямым углом к улице, а наискось, с маленьким козырьком, который давал тень именно туда, куда нужно, в самые жаркие часы.

Мира остановилась. Достала блокнот.

Это была не первая её зарисовка этого дома — она рисовала его уже трижды, с разных точек и в разное время дня. Но сегодня ей хотелось зафиксировать именно угол — то, как два фасада встречаются и как архитектор в тридцать восьмом году решил эту встречу не прямолинейно, а с изяществом человека, который понимает: на углу всегда стоят, смотрят и ждут, и это место заслуживает особого внимания.

Она открыла блокнот на чистой странице. Начала набрасывать линии — быстро, без лишних подробностей, только основное: пропорции, ритм окон, силуэт козырька.

И только тут заметила мужчину.

Он стоял метрах в пяти — чуть наискось от неё, тоже смотрел на дом, и стоял с видом человека, который не просто проходит мимо и не просто любит. Он оценивал. Это было другое — Мира умела отличать взгляд туриста от взгляда человека, который смотрит профессионально. Турист смотрит на здание целиком, как на картинку. Этот смотрел на конкретные вещи — она видела, как его взгляд переходил от козырька к водосточной трубе, от трубы к стыку фасадов, от стыка к основанию.

Лет двадцать семь. Тёмные волосы, чуть длиннее, чем принято. Джинсы, простая футболка, кроссовки — ничего примечательного. В руке телефон, которым он периодически фотографировал — не весь фасад, а детали. Крупный план козырька. Стык камня и штукатурки у основания.

Мира посмотрела на него секунду — и вернулась к блокноту.

Её это не касалось.

Она сделала шаг назад, чтобы охватить взглядом весь угол целиком — соотношение высоты к ширине было важно для понимания пропорций, — и в этот момент произошло то, что впоследствии она будет мысленно называть «архитектурным недоразумением».

Её лопатки встретились с чьей-то грудью. Блокнот описал в воздухе небольшую дугу и приземлился на тротуар. Бутылка с водой выжила.

— Сорри, — сказал голос сзади — по-английски, потом немедленно поправился на иврите: — Слива. Я не смотрел.

Мира обернулась.

Это был, разумеется, он.

Вблизи он оказался выше, чем казался издали, с тем особым выражением лица, которое бывает у людей, искренне удивлённых собственной неловкостью. Он уже наклонился за блокнотом — поднял, стряхнул пыль, протянул ей, и в этот момент неизбежно увидел зарисовку на открытой странице.

Пауза.

Не долгая — секунды две. Но достаточная, чтобы Мира её заметила и мысленно поморщилась: она не любила, когда кто-то смотрел на её рисунки без спроса. Это было примерно как читать чужие записки.

— Ты зарисовываешь? — спросил он на иврите.

— Как видишь, — сказала она — тоже на иврите.

Он чуть задержал на ней взгляд — не навязчиво, скорее с лёгким любопытством.

— Акцент у тебя... русский? Или украинский?

Мира слегка подняла бровь. Четыре года в израильской школе, четыре года иврита каждый день — и всё равно слышно. Это было немного обидно, хотя она давно решила, что обижаться на это глупо.

— Украинский, — сказала она. — Четыре года здесь.

— Иврит хороший, — сказал он — просто, без интонации комплимента, скорее как наблюдение.

— Стараюсь.

Тон у неё получился нейтральным — не грубым, но и не приглашающим к продолжению. Она отработала этот тон до совершенства за четыре года жизни в городе, где незнакомые мужчины считали своим долгом знакомиться при малейшей возможности.

Он, однако, не принял намёка.

— Ты правильно взяла угол, — сказал он, — но козырёк у тебя чуть шире, чем в реальности. Смотри — он примерно на четверть ширины входного проёма, а у тебя получилось треть.

Мира остановилась.

Это было неожиданно. Люди, которые смотрели на её зарисовки, обычно говорили «красиво» или «интересно» — то есть ничего. Этот сказал что-то конкретное и, что было особенно неприятно, совершенно правильное.

Она посмотрела на блокнот. Потом на козырёк.

Он был прав.

— Я знаю, — сказала она. — Это набросок, не обмер.

— Конечно, — согласился он без малейшей попытки настаивать. — Просто заметил.

Пауза. Мира смотрела на дом. Мужчина стоял рядом и тоже смотрел на дом, и молчал, и это молчание было на удивление необременительным.

— Ты архитектор? — спросила она наконец — не из вежливости, а потому что взгляд у него был профессиональным и это интересовало её помимо воли.

— Нет. Работаю в реставрационной фирме. Младший сотрудник. — Он сказал это без малейшего смущения и без попытки прибавить себе значимости. — Роми.

— Мира.

Он кивнул. Снова посмотрел на дом.

— Этот дом в нашем списке. Оцениваем уже месяц. Штукатурка на северном фасаде начала отходить, нужно решить, как именно восстанавливать — с сохранением оригинального состава или с заменой. Это всегда спор.

— И какое твоё мнение?

Он чуть повернул голову — как будто вопрос его удивил. Или обрадовал. Мира не была уверена.

— Оригинальный состав, — сказал он. — Всегда. Это честнее по отношению к зданию.

— Честнее по отношению к зданию, — повторила Мира медленно.

— Ну да. Здание — это не просто стены. Это конкретное решение конкретного человека в конкретное время. Когда ты меняешь материал, ты меняешь часть этого решения. Это уже не реставрация — это интерпретация.

Мира смотрела на него.

За четыре года в Тель-Авиве ей говорили много разного. Ей говорили, что она красивая, что у неё красивые глаза, что она похожа на какую-то актрису, имя которой она каждый раз забывала. Ни разу — ни единого раза — незнакомый мужчина не говорил ей ничего про архитектурную честность по отношению к зданию.

Это было, мягко говоря, нестандартно.

\* \* \*

— У тебя акцент на иврите, — сказала она. — Но не русский и не украинский. Какой? Он засмеялся — коротко, немного смущённо.

— Никакого. Я родился здесь. Просто у меня мама из России. Приехала, когда мне было три года. Дома говорили по-русски — она настаивала. Но я всегда отвечал на иврите, так что русский у меня... — Он на секунду задумался, подбирая слово. — Пассивный. Понимаю примерно половину. Говорю примерно одну десятую.

— А остальные девять десятых?

— Делаю вид, что понимаю, и киваю. Это работает на семейных ужинах. — Он помолчал. — Бабушка говорит только по-русски. Принципиально. Двадцать лет в Израиле — ни слова на иврите. Говорит, что в её возрасте уже поздно.

— И как вы общаетесь?

— Она говорит по-русски, я отвечаю на иврите, и мы оба делаем вид, что это нормально. — Пауза. — В принципе, это работает.

Мира подумала об этом. Картинка получалась абсурдная и одновременно совершенно узнаваемая — в Израиле таких семей было много, где каждый говорил на своём и все каким-то образом понимали друг друга.

— Ты пытался учить русский серьёзно? — спросила она.

— Пытался. — Он на секунду задумался с видом человека, роющегося в очень небольшом чемодане. — Могу сказать «добрый день». И «где находится библиотека». Это весь активный запас.

— Богатый, — сказала Мира.

— Знаю. Бабушка расстроена.

Мира не планировала улыбаться.

Тем не менее что-то в её лице сделалось не совсем серьёзным — она почувствовала это физически, как предательский импульс где-то в районе губ, который она подавила с некоторым усилием. Получилось не полностью.

Это её раздражало.

— А ты давно говоришь на иврите без акцента? — спросил он. — Четыре года — это быстро.

— Школа, — сказала Мира. — Нас бросили в обычный израильский класс с первого дня. Либо учишь, либо не понимаешь ничего. Я предпочла учить.

— В шестнадцать лет это непросто.

— В шестнадцать лет многое непросто, — сказала она ровно. — Привыкаешь.

Он посмотрел на неё — не изучающе, не жалеюще, а как-то иначе. Как смотрят на человека, которого только что увидели немного более отчётливо.

Мира не любила, когда на неё так смотрели.

Она закрыла блокнот.

— Мне нужно идти, — сказала она.

— Конечно. — Он кивнул без тени обиды. — Удачи с портфолио.

Мира остановилась.

— Откуда ты знаешь про портфолио?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Просто когда человек рисует архитектурные зарисовки утром в субботу с таким выражением лица — обычно это или работа, или учёба, или мечта. Ты выглядишь как человек с мечтой.

Мира смотрела на него секунду — ровно столько, сколько нужно, чтобы оценить сказанное.

— До свидания, Роми, — сказала она на иврите.

— До свидания, Мира.

Она пошла. Не быстро — быстро было бы неловко — но и не медленно. Ровно с той скоростью, которая означала: разговор окончен, всё в порядке, ничего не произошло.

Ничего и не произошло.

Она дошла до конца улицы, свернула за угол и только тогда открыла блокнот.

Козырёк действительно был шире, чем надо.

Мира постояла секунду, глядя на рисунок.

Потом взяла карандаш и поправила линию.

\* \* \*

Домой она вернулась около полудня. Злата встретила её в коридоре с лентой в руках и немедленным требованием оценить новый вариант финала. Мама разговаривала по телефону — судя по интонации на иврите, рабочий звонок даже в субботу. В холодильнике обнаружилась оставленная мамой записка: «борщ на плите, разогрей».

Всё было как обычно.

Мира разогрела борщ, выслушала Злату, оценила финал — лента на этот раз легла правильно, она отметила это вслух, и Злата сделала вид, что это само собой разумеется, — и после обеда ушла к себе.

Открыла блокнот.

Смотрела на поправленный козырёк.

*Роми, — сказала она себе мысленно. — Работает в реставрационной фирме. Младший сотрудник. Мама из России, бабушка говорит только по-русски и принципиально не учит иврит. Сам говорит по-русски в объёме «добрый день и библиотека». Имеет мнение об оригинальных штукатурных составах и об архитектурной честности.*

Обычный тип. Ничего особенного.

Она больше его не увидит.

Мира закрыла блокнот.

Ничего особенного.

Ещё не так давно она шла через старый город и читала вывески. Это была её привычка с первых недель — идти медленно и пытаться разобрать буквы. Иврит давался тяжело — не потому что сложный, а потому что другой. Другое направление, другой алфавит, другая логика. В русском она могла прочесть всё. Здесь она стояла перед простой вывеской и по буквам складывала слово, которое уже знала, но никак не могла запомнить, как оно выглядит написанным.

В первый год она иногда ловила на себе взгляды — не злые, просто изучающие. Новенькая. Оле хадаш — новый репатриант, это слово она выучила сразу, потому что им её называли часто. Потом перестали. Потом она перестала быть новенькой и стала просто — человеком в этом городе.

Но иногда — до сих пор, четыре года спустя — она шла по улице и понимала: я здесь потому, что моя прабабушка была еврейкой и молчала об этом всю жизнь. Это странное основание для дома. И всё же — основание.

#### **Глава четвёртая. Миланда**

Говорят, что актёры делятся на два типа: те, кто входит в роль целиком, и те, кто всегда остаётся собой за персонажем. Первые страдают больше. Вторые живут дольше.

Мира давно решила, что она второй тип.

Она почти в это верила.

\* \* \*

Среда была рабочим днём — не в кафе, а дома. Мира вернулась с утренней смены в половине четвёртого, поела, немного поспала, проверила, задала ли Злата вопрос учительнице по математике — та сказала, что задала, хотя по лицу было видно, что не задала, — и дождалась, пока мама уйдёт на вечерние курсы бухгалтерского учёта. Она повышала квалификацию

по средам, возвращалась в девять. Злата до восьми была у подруги. Окно было чистым, предсказуемым, трёхчасовым.

Мира ценила предсказуемость.

В семь вечера она закрыла дверь на щеколду.

Ритуал начинался задолго до того, как открывался ноутбук — это она поняла ещё в первые недели. Нельзя просто сесть и начать. Нужно было сначала стать другой, а это требовало времени и последовательности. Как хирург моет руки не потому что они грязные, а потому что это часть перехода — из одного состояния в другое.

Сначала душ. Горячий, короткий. Она стояла под водой и смотрела на плитку — старую, с трещиной в левом нижнем углу, которую они так и не починили, — и не думала ни о чём конкретном. Это тоже было частью ритуала: очистить голову от Миры Коваленко, от Флорентина, от трёх тысяч двухсот шекелей.

Потом волосы — распущены, чуть подсушены феном. Не потому что так красивее. Потому что Миланда носила волосы распущенными, а Мира обычно собирала их в хвост. Это была маленькая, но важная граница — одна из многих маленьких границ, из которых складывалась большая стена между ними.

Лёгкий макияж — тоже Миландин, не Мирин. Мира не красилась почти никогда, разве что чуть-чуть на работу в кафе. Миланда красилась иначе — ярче, увереннее, с той особой тщательностью, которая говорит: я знаю, на что смотрят, и дам им именно это.

Мира смотрела на себя в зеркало.

Из зеркала смотрела Миланда.

Это был момент, который она никогда не могла описать точно — даже себе самой, в мыслях. Не раздвоение личности, ничего патологического. Просто переключение. Как переключают свет в комнате — был один, стал другой, и комната та же, и ты тот же, но всё выглядит иначе.

— Ну, — сказала она своему отражению тихо, по-русски. — Поехали.

\* \* \*

Кольцевая лампа давала ровный мягкий свет — Арик когда-то потратил час, объясняя ей про цветовую температуру и углы падения. Мира тогда слушала вполуха и думала, что это излишне, но потом поняла: свет действительно важен — не для качества картинки, а для неё самой. При правильном свете лицо выглядело иначе. При правильном свете было легче быть Миландой.

Она открыла платформу. Проверила входящие запросы — несколько новых, несколько от постоянных. Постоянных она не любила — они начинали думать, что знают её, задавали личные вопросы, иногда писали, когда она была офлайн. Это нарушало границу. Новые были проще — они приходили за Миландой и уходили с Миландой, не претендуя на большее.

Она выбрала двоих. Включила камеру.

И стала.

Не Миландой — это слово звучало слишком театрально, слишком громко для того, что происходило на самом деле. Просто стала другой версией себя. Той, которая знает все нужные слова. Той, которой не страшно. Той, которая умеет смотреть в камеру с улыбкой, за которой ничего нет.

Первый был немногословным. Таких она предпочитала — не нужно было много говорить, достаточно было присутствовать, двигаться, соответствовать тому образу, который они создавали у себя в голове. Миланда исполняла то, что от неё ждали — движения, взгляды, интонации — с той профессиональной точностью, которая приходит, когда долго делаешь одно и то же и перестаёшь думать о процессе.

Она не думала о процессе.

Она думала о доме на Шенкин.

О том, как архитектор в тридцать восьмом году решал проблему северного фасада — северный всегда сложнее, меньше света, больше влаги, штукатурка отходит быстрее. Какой состав он использовал? Известковый, наверное — в тридцатых цемент был дороже. Известковый дышит, это хорошо. Но требует регулярного обновления, это плохо.

*Оригинальный состав, — сказал Роми. — Всегда честнее.*

Мира убрала эту мысль. Не время.

Второй клиент был болтливым. Они всегда говорили о себе — о работе, о жене, которая не понимает, о жизни, которая пошла не так. Мира слушала и кивала, и отвечала нужными словами в нужных местах. Это было несложно — люди, когда говорят о себе, не слушают ответы, они слушают интонацию. Правильная интонация означала: я здесь, я слышу тебя, ты важен. Этого было достаточно.

Мира думала о Злате.

О том, как та летела по залу с лентой — абсолютно в моменте, без остатка. Как падала тень от прожекторов на паркет. Как это было похоже на чертёж в движении.

Камера видела Миланду.

За камерой думала Мира.

Это и было стеной — стеклянной, прозрачной, которую видела только она. Снаружи всё выглядело одним образом. Внутри было другое. Снаружи была уверенная, смелая Миланда, которая знала, чего хочет, и не стеснялась этого. Внутри — двадцатилетняя девушка из Флорентина, которая никогда в жизни не держала мужчину за руку дольше пяти секунд и которая думала о несущих конструкциях.

Абсурд, если формулировать честно.

Она старалась не формулировать.

\* \* \*

В половине десятого она закрыла платформу.

Это был момент, которого она боялась больше всего — не работа, не камера, не клиенты. Момент после. Когда Миланда уходила и оставалась Мира, и между ними не было больше ничего — ни роли, ни лампы, ни правильных слов. Только она сама и то, что она только что делала.

Мира сидела перед закрытым ноутбуком и смотрела в стену.

Чувства в этот момент были странными — не острыми, не драматическими. Никаких слёз, никаких криков в подушку. Просто тихая серая усталость, которая была хуже любой боли, потому что с болью можно что-то делать, а с этим — нельзя. Это нужно было просто пережить, как переживают дождь — дождавшись, пока кончится.

Она пошла в ванную.

Снова душ — на этот раз горячее, дольше. Смывала не грязь — грязи не было, физически всё было чисто, в этом был весь смысл экрана. Смывала что-то другое, чему она не давала названия, потому что называть было опасно: если назовёшь — придётся признать. А признавать она пока была не готова.

Вода была почти обжигающей.

Мира стояла под ней и думала об отце.

Не о конкретном воспоминании — просто о нём. О том, каким он был до войны, до вокзала, до той улыбки в мутном стекле. Как он учил её играть в шахматы и проигрывал нарочно первые несколько партий, пока она не поняла, что он проигрывает нарочно, и не сказала ему об этом. Как он засмеялся тогда — громко, по-настоящему. Как они потом играли честно и он выигрывал легко и без снисхождения, и это было гораздо лучше.

Интересно, знал бы он. Если бы знал — что бы сказал.

Она не додумывала этот вопрос до конца.

Никогда.

Выключила воду. Вытерлась. Надела старую пижаму — ту самую, выцветшую, которую привезла из Украины и которую не выбрасывала, хотя она давно просилась на пенсию. Собрала волосы в хвост.

Посмотрела в зеркало.

Из зеркала смотрела Мира.

Это тоже был момент — другой, но тоже важный. Убедиться, что она вернулась. Что Миланда ушла и не оставила ничего лишнего за собой. Обычно это работало. Обычно граница держалась.

Но иногда — не всегда, не часто, но иногда — граница была не такой чёткой, как хотелось бы. Иногда она смотрела в зеркало и не была уверена, кого именно видит.

Сегодня был один из таких вечеров.

Мира смотрела на своё отражение долго — дольше, чем обычно. На светлые волосы, собранные в хвост. На серые глаза, из которых усталость никуда не делась. На лицо двадцатилетней девушки, которая выглядела старше.

— Мира Коваленко, — сказала она тихо. Вслух, по-русски. Как якорь.

Отражение смотрело в ответ.

Мира кивнула ему и вышла из ванной.

\* \* \*

Утром за завтраком Злата рассказывала про новую девочку в секции — Яэль, которая пришла из другого зала и якобы умеет делать двойной оборот с булавами, хотя это физически невозможно, Злата проверяла.

— Физически невозможно — это сильное заявление, — сказала мама, намазывая хумус на питу.

— Я смотрела видео в интернете. Там максимум полтора оборота.

— Может быть, ты неправильно считала.

— Мама. Я гимнастка. Я умею считать обороты.

— Конечно умеешь. Возьми огурец.

— Я не хочу огурец. Мир, ты согласна, что двойной оборот физически невозможен?

Мира сидела над чашкой нескафе и смотрела на них.

На маму — усталую, красивую, которая успела с утра разобрать почту, позвонить в страховую и накрыть нормальный завтрак. Яйца вкрутую, нарезанные помидоры с огурцами, лабана с оливковым маслом, питы, подогретые прямо на газу — мама научилась этому ещё в первый год, когда поняла, что израильский завтрак — это серьёзно. На Злату — с косичками набекрень, в старых джинсах и футболке с динозавром, абсолютно убеждённую в своей правоте.

Они не знали ничего.

Мама думала, что Мира вечером читала. Злата думала, что Мира вечером спала. Никто из них не знал про щеколду, про кольцевую лампу, про Миланду, которая существовала в этой же квартире через одну стену от них.

Мира сидела между ними — любимая, родная, горячо желающая остаться именно такой — и чувствовала то расстояние между собой и ними, которое сама же выстроила и которое сама же поддерживала. Стеклянная стена. Всё видно. Ничего не чувствуется.

Цена этого расстояния была понятна.

Цена отсутствия этого расстояния — тоже.

Она выбрала то, что выбрала.

— Согласна, — сказала она Злате. — Двойной оборот физически невозможен.

— Вот! — Злата торжествующе посмотрела на маму.

— Мира не специалист по булавам, — невозмутимо ответила мама.

— Зато она умная!

— Ты тоже умная. Ешь лабана.

— Я не хочу лабана.

— Злата.

— Ладно, ладно.

Мира улыбнулась. Взяла питу, оторвала кусок. Слушала, как сестра и мама спорят о законах физики применительно к художественной гимнастике, и понимала, что это — вот это, прямо сейчас, этот шум, этот запах кофе и поджаренной питу, эта невозможная Злата с её булавами — и есть то, ради чего всё.

Ради этого можно.

Она сама себе не вполне верила.

Но пока это работало.

### **Глава пятая. Капучино или латте**

Существует негласная классификация людей, которую вырабатывает каждый, кто достаточно долго работал в кафе. Не по социальному статусу и не по внешности — по отношению к меню. Первая категория знает, чего хочет, говорит это сразу и не меняет решения. Таких Мира уважала. Вторая категория долго изучает меню, задаёт уточняющие вопросы и в итоге берёт капучино — то есть то, что можно было взять, не изучая меню. Таких Мира терпела. Третья категория просит объяснить разницу между капучино и латте, выслушивает объяснение, кивает с видом человека, принявшего важное решение, — и берёт американо.

С третьей категорией Мира работала над собой.

Полтора года в кафе на Алленби научили её многому — не только классификации посетителей. Она научилась улыбаться, когда устала, молчать, когда хотелось ответить, носить четыре чашки одновременно не расплёскивая, и определять по первой фразе клиента примерно всё, что нужно знать о предстоящем взаимодействии. Это был отдельный навык — быстрое чтение людей, — который она развила задолго до кафе, но кафе его значительно усовершенствовало.

Шимон, владелец, говорил, что у неё талант к обслуживанию.

Мира вежливо соглашалась и думала о несущих конструкциях.

\* \* \*

Смена в среду начиналась в одиннадцать. Мира пришла в десять сорок пять — достаточно рано, чтобы выпить кофе до начала, достаточно поздно, чтобы не участвовать в утренней разгрузке. Это был выверенный баланс, достигнутый методом проб и ошибок.

Ноа уже была там — стояла у кофемашины с видом человека, имеющего к ней претензии.

— Она снова плюётся, — сообщила Ноа, не оборачиваясь.

— С утра?

— С утра. Шимон сказал, что вызовет мастера на следующей неделе.

— Шимон говорит это с марта.

— Я знаю. — Ноа наконец обернулась. — Ты неплохо выглядишь для человека, который вчера работал до десяти.

— Я всегда нормально выгляжу.

— Это правда. Это немного раздражает. — Ноа сказала это без малейшей обиды, чисто информативно. — Кофе будешь?

— Буду.

Ноа была родом из Нетании, в Тель-Авив приехала три года назад «на месяц посмотреть» и осталась — как это обычно и происходит с людьми, которые приезжают в Тель-Авив на месяц посмотреть. Двадцать три года, тёмные кудри, которые она принципиально не укладывала, потому что «они всё равно делают что хотят», мнение по любому поводу и абсолютная неспособность держать это мнение при себе. Последнее качество в сочетании с природным добродушием давало странный, но работающий результат: Ноа говорила людям всё, что думала о них, и люди почему-то не обижались.

Мира иногда думала, что это особый дар. Возможно, врождённый.

Сама она предпочитала молчать — по разным причинам и в разных ситуациях, но предпочитала неизменно. Ноа это знала и относилась с уважением — то есть продолжала говорить, но не требовала развёрнутых ответов.

Они работали вместе полтора года. За это время выработали негласное разделение труда: Ноа брала сложных клиентов — тех, кто хочет поговорить, кто жалуется на жизнь, кто не может определиться. Мира брала быстрые столики и стойку. Кофемашиной владели совместно.

— Немцы за четвёртым, — сообщила Ноа, когда кафе начало заполняться. — Уже пятнадцать минут.

— Ставлю на капучино.

— Американо.

— Пospорим?

— Кто проигрывает — моет кофемашину в конце смены.

— Идёт.

Немцы в итоге заказали один капучино и один американо. Ноа объявила ничью. Мира предложила, что кофемашину моет Шимон. Ноа согласилась. Шимон об этом решении уведомлён не был, но это была деталь.

День шёл своим чередом. К полудню кафе заполнилось до той степени, которую Шимон называл «хорошим потоком», — у Миры для этого было своё выражение: «ногам не отдохнуть до трёх». Июнь гнал туристов с улицы в любое помещение с кондиционером, и кафе на Алленби с его большими окнами и относительно сносным охлаждением пользовалось заслуженной популярностью.

Мира работала. Улыбалась. Носила чашки. Объясняла разницу между капучино и латте — в третий раз за день. Думала урывками о пятой главе задачника по сопромату, который читала уже месяц. Сопромат не входил в программу подготовки к Бецалелю, но Мира считала, что понимать, как здания держатся, — это базовая грамотность для архитектора. Как врачу знать анатомию.

В половине второго дверь открылась.

И вошёл Роми.

\* \* \*

Мира увидела его раньше, чем он её — он ещё оглядывался, привычным образом оценивая пространство. Она успела за эту секунду отметить несколько вещей: один, одет так же просто, как в субботу у дома на Шенкин — джинсы, футболка, те же кроссовки. В кафе явно не впервые — двигался уверенно.

Потом он увидел её.

Пауза — короткая, секунды полторы. Потом лёгкая улыбка. Не широкая, не театральная. Просто улыбка человека, которому неожиданно стало хорошо.

Мира физически почувствовала, как Ноа медленно поворачивает голову.

— Знакомый? — тихо спросила та.

— Нет, — сказала Мира.

— Он смотрит на тебя как знакомый.

— Мы виделись один раз. Случайно.

— Угу, — сказала Ноа тоном, означавшим: я всё поняла, можешь продолжать делать вид.

Роми сел за стойку — не за столик, а именно за стойку, на высокий табурет напротив Миры. Свободных столиков в зале было достаточно. Мира это заметила, но сделала вид, что не заметила.

— Что будете? — спросила она на иврите, профессионально нейтрально.

— Эспрессо. — Он помолчал секунду и добавил по-русски, медленно, с явным усилием: — Добрый... день.

— Добрый день, — ответила она по-русски.

— Это весь мой русский, — сообщил он, переходя обратно на иврит. — Дальше только библиотека. Я учил новое слово.

— Какое?

Он на секунду сосредоточился — с видом человека, достающего что-то из очень дальнего кармана.

— По-жа-луй-ста, — произнёс он отдельно, как будто слово состояло из пяти отдельных элементов, требующих сборки.

— Пожалуйста, — повторила Мира нормально.

— Вот именно. — Он кивнул с удовлетворением. — Бабушка научила. Она сказала, что без этого слова я невоспитанный.

— Бабушка права.

— Бабушка всегда права. Это я понял ещё в детстве.

Мира повернулась к кофемашине. За спиной она физически ощущала присутствие Ноа — то особое застывшее присутствие человека, который очень старается не привлекать внимания.

Она поставила эспрессо на стойку.

— Спасибо, — сказал он по-русски. — Ты здесь работаешь.

— Как видишь.

— Я не знал. Я здесь бываю — офис рядом, на Алленби. — Пауза. — Часто бываю, на самом деле.

— Понятно.

— Раньше не видел тебя.

— У меня другие смены обычно.

Она собиралась отойти — третий столик ждал уже достаточно долго, чтобы это стало неловким, — но он сказал:

— Мы приняли решение по штукатурке.

Мира остановилась.

— Оригинальный состав, — сказал он. — Как я и думал. Спорили две недели. Я написал отчёт на восемь страниц.

— Восемь страниц ради штукатурки.

— Ради принципа. — Он взял чашку, посмотрел в неё с тем выражением, с которым смотрят на хороший эспрессо — с уважением. — Штукатурка была поводом.

Мира смотрела на него секунду дольше, чем следовало.

За третьим столиком деликатно кашлянули.

— Прошу прощения, — сказала Мира и пошла принимать заказ.

\* \* \*

Следующий час она работала — заказы, кофе, счета, объяснение туристу из Франции, что кредитная карта работает только если её вставить правильной стороной. Роми сидел за стойкой, пил эспрессо не торопясь, потом попросил стакан воды, потом достал телефон. Не пытался привлечь её внимание. Не делал вид, что не замечает — просто существовал в пространстве кафе с той же спокойной уверенностью, с которой существовал у дома на Шенкин.

Это было необременительно.

Именно это и беспокоило.

Мира за полтора года в кафе выработала безошибочное чувство мужского внимания — когда оно есть, чего оно хочет, насколько настойчивым будет. Опыт последних восьми месяцев это чувство только обострил. Она умела видеть запрос за любой интонацией, за любым взглядом, за любой случайно брошенной фразой.

Этот не имел читаемого запроса.

Он просто пил кофе.

Что было, разумеется, полной бессмыслицей — потому что люди не просто сидят за стойкой, когда в зале есть свободные столики. Люди делают это по причине. Мира пока не понимала, по какой именно, и это раздражало её значительно больше, чем если бы причина была очевидной.

Очевидную причину она умела обрабатывать.

Неочевидную — нет.

В какой-то момент между вторым стаканом воды и счётом к ней подошла Ноа — под предлогом взять салфетки, которые лежали ровно в метре от неё в другом направлении.

— Он смотрит на тебя, когда ты отворачиваешься, — сообщила она шёпотом с видом разведчика, докладывающего обстановку.

— Ноа.

— Я просто информирую.

— Я не просила информации.

— Ты никогда не просишь. Поэтому я сама. — Она взяла салфетки. — Он красивый, кстати.

— Я не заметила.

— Конечно не заметила. — Ноа пошла обратно, тихо добавив через плечо: — Поэтому смотришь на него каждый раз, когда думаешь, что я не вижу.

Мира сделала вид, что не слышала. Это было профессиональным решением.

\* \* \*

В половине третьего Роми поднялся. Оставил деньги — точная сумма плюс чаевые, скромные, ровно столько, сколько оставляют люди, которые считают чаевые нормой вежливости, а не инструментом произведения впечатления. Убрал телефон. Накинул лёгкую куртку — зачем куртка в июне, Мира решила не анализировать.

— Спасибо за кофе, — сказал он на иврите.

— Пожалуйста.

— Хороший эспрессо.

— Я передам Шимону. Он будет рад.

Роми улыбнулся. И добавил по-русски — медленно, явно заготовленное заранее, с паузой между словами, как будто проверял каждое перед употреблением:

— До... свидания.

— До свидания, — сказала Мира по-русски.

Он вышел.

Мира смотрела на дверь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы она закрылась. Не больше.

— Ну, — сказала Ноа, возникая рядом с той мгновенностью, которая предполагала, что она ждала именно этого момента. — Рассказывай.

— Нечего рассказывать.

— Он провёл здесь почти час.

— Люди пьют кофе. Это кафе.

— Он учил русские слова специально, чтобы сказать тебе.

— Ноа. Он говорит по-русски, потому что у него мама из России.

— Он сказал «пожалуйста» как человек, который выучил это слово вчера.

Мира взяла тряпку и начала протирать стойку с той тщательностью, которая не имела никакого отношения к реальной необходимости.

— Мир. — Ноа облокотилась о стойку с другой стороны. — Как его зовут?

Пауза.

— Роми.

— О. — Ноа помолчала секунду. — Красиво.

— Это просто имя.

— Конечно. Просто красиво. — Она взяла поднос. — Он придёт ещё.

— С чего ты взяла?

— Потому что он провёл здесь час, выпил один эспрессо, попросил стакан воды и попрощался по-русски. Это не человек, который зашёл за кофе. — Она пошла к столику, через плечо добавив: — Это человек, который нашёл причину задержаться.

Мира смотрела ей вслед.

Потом посмотрела на дверь.

*Роми*, — сказала она себе. — *Третий раз за неделю. Штукатурка, восемь страниц отчёта, принцип важнее повода. Эспрессо без сахара. Скромные чаевые. Русское «пожалуйста» из пяти отдельных слогов.*

Ничего особенного.

Она взяла поднос и пошла к следующему столику.

\* \* \*

Смена закончилась в шесть. Они шли с Ноа к автобусной остановке по раскалённой Алленби — солнце уже снижалось, но жара никуда не делась, просто стала чуть менее агрессивной. Тель-Авив в шесть вечера был другим — более живым, более громким, с запахом еды из открытых ресторанов и музыкой из чьей-то машины, стоящей на светофоре.

Ноа молчала три минуты. Для неё это был личный рекорд.

— Мир, — сказала она наконец. — Когда ты последний раз позволяла кому-то нравиться тебе?

Мира смотрела на светофор.

— Я не понимаю вопроса.

— Понимаешь. — Ноа не спорила, просто констатировала. — Ты закрытая. Я работаю с тобой полтора года и не знаю про тебя почти ничего. Ты никогда не говоришь о мужчинах. Ты никогда не говоришь о том, чего хочешь — не в смысле архитектуры и Бецалея, а в смысле... просто для себя.

— Я говорю об архитектуре.

— Архитектура — это мечта. Я про другое.

— Ноа, у меня нет времени на то, про что ты говоришь.

— Время есть у всех. Времени нет на то, чего не хочешь.

— Ты психолог теперь?

— Нет. Просто смотрю. — Ноа остановилась у остановки. — Он смотрел на тебя как на человека, Мир. Не как на официантку. Не как на красивую девушку за стойкой. Как на человека, которого хочет узнать. Это редко бывает.

Мира молчала.

Автобус пришёл. Они вошли, нашли места рядом, как обычно. За окном проплывал город — золотой от вечернего света, немного нереальный, как все города в такое время.

— Я знаю, что смотрел, — сказала Мира наконец. Тихо, не глядя на Ноа.

— И?

— И ничего. — Она смотрела в окно. — Я не умею с этим. С тем, как смотрел он.

Ноа не ответила. Просто сидела рядом и давала словам существовать в воздухе без немедленной реакции.

Мира смотрела на город за окном.

Автобус проехал мимо улицы Шенкин.

Она не повернула голову.

Почти.

\* \* \*

Дома мама готовила ужин. Злата лежала на диване с телефоном и делала вид, что делает уроки — этот манёвр не обманывал никого, включая саму Злату, но традиция поддерживалась.

— Как смена? — спросила мама.

— Нормально.

— Ела?

— Да.

— Что?

— Питу с хумусом. В кафе.

— Это не еда.

— Это израильская еда, мама.

— Израильская еда бывает разная. — Мама помешала что-то в кастрюле. — Садись, через двадцать минут будет готово.

Мира села за стол. Злата немедленно подняла голову — с тем особым радаром, который включается у младших сестёр при появлении старших.

— Мир, ты знаешь, что такое параллелепипед?

— Да.

— Объясни.

— После ужина.

— Мне сейчас надо.

— Злата, ты лежишь с телефоном.

— Я смотрю объяснение в интернете. Там непонятно. — Злата перевернулась на живот.

— Мир, а у тебя был сегодня кто-нибудь интересный в кафе?

Мира посмотрела на сестру.

Злата смотрела с тем выражением лица, которое у двенадцатилетних означает: я спрашиваю невинно, но на самом деле мне интересно.

— Нет, — сказала Мира.

— А Ноа говорила, что...

— Ноа не говорила тебе ничего, вы не знакомы.

— Ноа написала мне в инстаграм.

Мира закрыла глаза на секунду.

— Когда вы успели...

— Она нашла меня через тебя. Она говорит, что ты никогда ничего не рассказываешь, и поэтому она сама рассказывает. — Злата улыбнулась с видом человека, которому только что вручили ценный подарок. — Там был какой-то Роми?

— Злата, — сказала мама из кухни, — не приставай к сестре.

— Я не пристаю! Я интересуюсь!

— Это одно и то же. Иди мой руки.

Злата ушла с видом несправедливо остановленного следствия.

Мира сидела за столом и понимала, что немедленно заблокирует Ноа во всех возможных приложениях.

Потом поняла, что не заблокирует.

Потом подумала о Роми — о том, как он произносил «пожалуйста» по слогам, о восьми страницах отчёта ради принципа, о том, как смотрел на эспрессо с уважением.

Потом перестала думать.

Или попыталась.

За окном Тель-Авив переходил в вечер — мягко, без спешки, как человек, который никуда не торопится и знает об этом.

— Мира, — позвала мама, — накрывай на стол.

— Иду, — сказала Мира.

И пошла.

### **Глава шестая. Не свидание**

Существует особый вид лжи — не злонамеренной и не корыстной, а защитной, как панцирь у черепахи или колючки у кактуса. Люди прибегают к ней не чтобы навредить, а чтобы уцелеть. Моральные философы спорят о допустимости такой лжи уже несколько тысячелетий. Практики давно решили этот вопрос самостоятельно.

Роми Кац принадлежал к практикам.

Мира Коваленко, как выяснится позже, тоже.

Но это будет позже.

\* \* \*

Он пришёл в пятницу — не в среду и не в четверг, что Мира отметила мысленно и немедленно запретила себе анализировать. Пришёл в начале двенадцатого, когда пятничный поток ещё не набрал полную силу и за стойкой было относительно спокойно. Сел на тот же табурет, что в прошлый раз, — как будто табурет был зарезервирован, как будто это было уже их место, хотя никто подобного не договаривался, и Мира категорически возражала бы против формулировки «их».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.